

## Беседа критика, доктора филологических наук Капитолины Кокшеневой и писателя Анатолия Байбородина



### СЛОВО О РОДЕ И НАРОДЕ

*Критик:* Анатолий, в отличие от коренного европейца и нынешнего российского сребролюбца, природный русский человек не утешится, не ублажится лишь благами цивилизации, душа его жаждет духовного смысла бытия и творческого воплощения душевных и духовных поисков, метаний, страданий. Русское простолудье, житейски бедное, к тому ж стремительно обнищавшее в начале российской перестройки, но всякий второй пишет стихи либо прозу. Поголовная страсть к творчеству, особенно литературному, дело доброе – душа не омертвела, творческий дар в народе не иссяк, но эта творческая страсть, увы, породила и огромный приток в Союз писателей России, а тем паче в Российский писательский союз откровенной графомании. Сказано: «стихи не пишутся, стихи рождаются». А посему и писателями становятся или рождаются? Какие рассудочные, душевные или духовные мотивы привели Вас в литературу?

*Анатолий Байборodin:* В русской традиционной народной литературе писатели замышлены родовой судьбой, писателя рождает в некоем колене его рода, как выразителя рода, – суть народа. В идеале... может, недостижимом... русский народный писатель, словно приходской поп, посредник меж Богом и народом, меж небом и землёй. А начальный душевный порыв к слову, начальный творческий мотив у писателей разный; меня томила и властно требовала выражения в слове обида за все горести, перенесённые в бедном детстве и отрочестве, хотя потом я осознал и счастье детских, отроческих лет, прожитых среди прекрасной лесостепной, озёрной и речной природы. Томила обида за мать и отца, за своих деревенских земляков, вечно унижаемых и оскорбляемых. Я писал в очерке «Люблю я сторону родную»: «сколь горя пережило довоенное и военное поколение, что и не сыскать в мире народа, какой бы столь пролил крови своей, так перемучился, переломался за полвека, а посему иногда прикинешь: да как же было русскому народу не загулять, не удариться во все тяжкие, чтоб хоть в вине, в грехе утопить мучительную память о пережитом, о своём бессилии перед злой неодолей, перед бесовской чуждой волей, чтобы хоть во хмелю занять некие права, хоть в пьяном кураже заявить поправное достоинство и... на своём же ближнем и выместить все обиды за узаконенные оскорбления, унижения. Добра-то в сём, конечно, мало, разве что понять можно, пожалеть можно... Но ведь народ и не ударился во все тяжкие, не озлобился, не изжил из души божественный свет любви к брату и сестре во Христе... А уж столь народу в середине прошлого века осиротело по России, словно и сама Россия вдруг осиротела... И если бы не потаённая, осветляющая вера в то, что по слезам и страданиям нашим отпустится счастья в тихой, навечной обители, вряд ли выстоял бы народ в долгие лихолетья, в голоде, холоде, в бесправии, в непосильном труде. Не выжил бы, озлобился, истребил друг друга, утратив из души последнюю, невыразимую в словах и даже чувствах, заветную надежду на Царствие Небесное».

Обида своя, сострадание к обиженным пробудили в душе слово любви к убогим, что у Бога ждут милости в горнем мире, на блага земные не упоая. Это некий духовный мотив творчества, а был и житейский – выбиться из деревенской грязи в городские князи, въехать на белом коне в русскую литературу. И въехал бы – простонародную жизнь доподлинно ведал, и народный притчевый пословично-поговорочный, образный язык звучал в памяти, к тому же сельская родова отсулила мне, крестьянскому сыну, неистовую страсть к труду, неприхотливость в быту, выносливость. Но не въехал в литературу даже на пегой кобыле: всё было недосуг запрячь клячу, промешкал, и годы ушли.

*Критик:* Лет семь назад автор «Литературной России» писал: «Анатолий Байбородин нам по-прежнему предлагает тягомотину о деревне в духе телепередачи “Сельский час” образца конца 1970-х – начала 1980-х годов. Писатель так и не понял: то, что почиталось за смелость в застой, сегодня уже не актуально. Вот бич сегодняшнего литпроцесса в Сибири – вторичность». Смысл едкого критического выпада в том, что «деревенская», «почвенническая» литература якобы себя исчерпала, нужны новые темы, новые идеи, новое художественное слово. Всё Ваше творчество – это глубинное погружение в суть той жизни – крестьянской, народной, которая сегодня просто катастрофически не в цене. Уже и слова-то такие изгнаны, как «труд», «крестьянин», «народ». Нет ли ощущения, что время восстало против Вас и Вашего творчества?

*Анатолий Байбородин:* О том, что проза моя устарела, что она слабый отзвук отпевшей «деревенской» прозы, я слышу четверть века, от первых повестей и рассказов. Вот и ныне бойкие критики и молодые сочинители, что держат нос по ветру, ставят могильный крест на «деревенской», «почвеннической» литературе и ожидают некую новую, по глупости и немощи уподобляя литературу журналистике: освятила злободневную тему человеческого бытия на одном историческом этапе, пора переходить и к новой злободневной теме. А если завтра молодой писатель напишет талантливый роман о гражданской войне или о коллективизации, как Лев Толстой описал отечественную войну через десятки лет, так что же, критики его укорят: де, тема уже исчерпана писателями начала двадцатого века?! Беда новейшей российской прозы и критики – журнализм, а истинная художественная литература – не газета, освещающая социально-политические и хозяйственные кампании и проблемы. Пути русской литературы исповедимы критике, изъеденной журнализмом.

Говорить о том, что мои романы и повести, где живёт крестьянский мир прошлого века, не современны, это всё равно, что говорить о несовременности Есенина, Клюева, Рубцова, Шукшина с их деревенской вселенной, Шолохова с его канувшим в лету казачьим миром. Упаси бог равняться с помянутыми выдающимися писателями, я говорю лишь о современности в литературе... Время восстало не против моего природного и народного литературного творчества, – много чести смерду, – лихолетье глобального технократического космополитизма ополчилось против природы – Творения Божиего, а значит, и против слитого с природой крестьянского мира, да и ополчилось против человека – образа Божиего, который в природном крестьянском мире только и был истинно счастлив. Земля и небо терпели человечество, тысячелетия живущее крестьянским и ремесленным трудом, но человечество сбилось с благословенного крестьянско-ремесленного пути, пошло по роковой и погибельной дороге научно-технического прогресса, задумав подчинить землю и небо порочным страстям. Земля и небо – кои уже не в силах выдержать человека, словно дуб свинью, выгрызающую его корни, – содрогаясь в муках, в яростном и праведном гневе обрушивают на человека природные стихии. Человечество, даже осознавая гибельность пути, разумеется, никогда уже не вернётся к спасительному крестьянско-ремесленному укладу, но стремительно будет лететь к Апокалипсису, словно ночные бабочки-метлики на огонь вселенского костра.

Но опустимся на грешную нынешнюю русскую землю и вспомним, что в нынешней России к тому же космополиты – либеральные «мировые люди» – в невольном соратничестве с «асфальтовыми русскими националистами» – ополчились против исконного и вековечного русского духа, который во всей православно-детской искренности и природной мудрости, во всем двухтысячелетнем художественном гении испокон веку обретался лишь в крестьянской мире. А я, отвергнутый временем беса, лишь маловедомый певец крестьянского мира, который можно вечно осмыслять и вечно живописать, как Вселенную.

Впрочем, у меня немало и «городской» прозы – я уж лет тридцать житель городской, любящий и былую деревню, и величавые древнерусские и старорусские города, которые, кстати, как и деревни,

не противостояли природному миру, но в каменной и особенно деревянной архитектуре своей подражали природе, а перво-наперво образу Божественной Вселенной.

Хотя и повеличал я себя певцом деревенского мира, но душа моя искони противилась, когда Фёдора Абрамова, Евгения Носова, Виктора Астафьева, Бориса Можаева, Василия Шукшина, Василия Белова, Валентина Распутина, а уж тем паче Владимира Личутина критики, историки литературы для понятийного упрощения обзывали «деревенщиками» или «почвенниками», то есть пишущими о деревне. Но ведь Фёдор Достоевский, не писавший о деревенском мире, величал себя «почвенником» – славянофилом особого «почвеннического» толка. А «почвенники» ли Иван Шмелёв или Георгий Семёнов, живописавшие Москву на зависть певцам крестьянского мира?

Творчество выше помянутых выдающихся русских писателей второй половины двадцатого века, выше и шире «деревни» и «почвы», они – русские народные писатели, воспевшие и оплакавшие великую русскую цивилизацию, – суть крестьянскую, ибо русский человек по родовым истокам и по характеру – крестьянин. У заправдаших русских, кои уже во втором-третьем колене распрощались с деревней-матушкой, – крестьянский характер или, как ныне говорят, деревенский, природный менталитет. Не случайна российская дачная страсть, коя для европейца – дикая, варварская страсть. Можно запросто купить той же картошки, моркошки, тех же цветов садовых, ан нет, самому охота сеять, в земле ковыряться. Тянет земля дальней родовой памятью, потому что все мы, русские, из царства крестьянского. А земную тягу из души не выбить и в пяти поколениях, как и небесный зов.

Повеличенные писатели стали *народными* лишь потому, что гармонично слили воедино два творческих духа – дворянско-разночинный и крестьянский, и две традиции художественного слова – письменную, гениально воплощённую в дворянско-разночинной, классической литературе, и устную сказовую, породившую величайший крестьянский фольклор, записанный лишь на малую толику, но изданный уже сотнями томов. Сила народных писателей в том, что их произведения не вторичны, не от одной лишь письменной литературы, в их повествованиях слышны отзвуки, видны отсветы двухтысячелетнего первоисточного народного слова, воплощённого в календарно-обрядовой поэзии, в православно-житийных легендах, в мифологии, в песне, в пословично-поговорочном, образном речении. Величайший художник всех времён и народов гениально напишет сосновый бор на рассвете и закате, но бор, сущий в природе, во сто раз гениальней. Русская традиционная культура, которая создавалась в течение двух тысяч лет, сродни природе, поэтому она сверхгениальна. И четверть века я и посвятил изучению первоисточного народного слова, пытаюсь посылно воплотить его в творчестве. А посему можно повинить мои сочинения в языческих грехах, но не во вторичности, что воображается иным молодым писателям, блуждающим в поиске своего «неповторимого голоса».

*Критик:* Но формальный поиск в литературе имеет право быть...

*Анатолий Байбородин:* Разумеется... Формальный поиск неизбежен для начинающего художника, поиск и обогащает его палитру. Но если иные нынешние «языковые поисковики» из модернистов копошатся в молодёжном сленге, в блатной фене, словно в помойной яме, то у моего поколения писателей формальный, стилистический поиск имел более высокий полёт. Хотя родился и вырос я в глухом забайкальском селе за триста вёрст от «чугунки» и города, но в студенческой юности чурался и родной деревенской культуры, и традиционной русской литературы. Я был чадо гуманитарной богемы, и в студенчестве, как и мои сокурсники-филологи, не только с интересом изучал европейскую литературу XIX века, особо возлюбив Чарльза Диккенса, но и взахлёб читал модных о ту пору писателей XX века – европейских, североамериканских, латиноамериканских; и, как ни странно покажется, в раннем творчестве пережил формальное влияние Фолкнера, Маркеса, Камю, умудрившись в духе и стиле «потока сознания» написать повесть одним предложением. Чуть позже, как и другие писатели моего поколения, пережил и влияние Андрея Платонова, что избежать было невозможно, – в русской литературе трудно вообразить иного писателя, в творчестве которого выразились бы столь причудливым, парадоксальным слогом столь причудливые, парадоксальные характеры. Впрочем, проза его не надуманная, не искусственно конструктивная, как у нынешних постмодернистов, – это его платоновский мир, его язык, имеющий в русской жизни подобие.

Позже, нажив судьбу, стал открывать для себя русскую классическую литературу, а потом, тоскуя по родному селу, по землякам, – и народную, прозываемую в те годы «деревенской», которая, на мой взгляд, превзошла классическую, поскольку классическая – это всё же дворянская литература, выражающая, скажем, три процента российского населения, а народная – весь народ русский, по характеру

крестьянский. Будучи сельским жителем, возлюбив Шукшина, начитавшись Абрамова, Носова, Белова, Распутина, а позже и Личутина, писал в чисто деревенском ключе, но потом взошла в голову блажь тронуться своим литературным путём: основываясь на художественных достижениях крестьянской народной литературы, попытался предвнести в прозу христианско-психологические мотивы, что так мощно прозвучало в произведениях Достоевского. Появились герои с крайне противоречивыми и даже парадоксальными характерами, души которых – поле брани, где в яростной схватке сплелось божественное и демоническое.

В стилистическом поиске серьёзный писатель осторожен. Когда читатель, забывая о содержании повествования, восхищается стилистикой – «...глянь, как он, подлец, фразу-то крутит...» – значит, повествование ещё сырое, не пропечённое, надо ещё корпеть над словом. Высший образец художественной формы, когда даже причудливая, предельно насыщенная сложным образом форма при восприятии перестаёт ощущаться, не заслоняет, но усиливает для читателя, зрителя духовные, нравственные переживания героев, идеи, запечатлённые художником. Такова избранная проза помянутого Платонова и проза Владимира Личутина, у которого предельно сложная стилистика не довлеет над содержанием, но и быть иной, попроще, не может, иначе не выразить сложнейшие религиозно-мистические, психологические состояния героев.

Почитал я беллетристику (полужурналистику) неких молодых модернистов, даже якобы русских, и, «базаря» их похабным жаргоном, словно помоев опился. И дело даже не в умозрительном формальном, эпатажном поиске своего «неповторимого» голоса, встроенного в блатную феню и молодёжный сленг, дело в хладнодушии, в бессердечии, когда у героя – суть, автора – нет исповедального раскаянья во грехе, когда грешник без сострадания осмеивается, когда грех и порок смакуются с вызовом обществу, якобы лицемерному и фарисействующему.

Я вроде классический реалист, но однажды модернистый и модный питерский писатель прилюдно и меня подверстал в модернисты, утверждая, что моя проза с её словесным орнаментализмом с традиционным реализмом ничего общего не имеют.

Да, мои прозаические книги, над которыми от случая к случаю работал четверть века, с ходу не прочтёшь, на бегу не осмыслишь. Повествования и рассказы пахал, боронил, сеял и подсеивал, полон многожды, хотя в первых, вторых либо третьих редакциях повести и рассказы издавались в Сибири и в столице. Потом два самых отрадных года таился в лесной избе подле Байкала и, счастливо пребывая с хлеба на квас, доводил книгу до своего нынешнего духа, ума и ремесла, – не хотелось оставлять после себя лишнего греха, печатать то, что ниже моего, какой уж есть, духовно-художественного уровня. Столичные журналы отвергли почти все мои повести; и крепко бранили меня иные столичные журнальные редакторы – садовокольцовские русские патриоты – за этнографизм, фольклоризм и словесный орнаментализм, но я им кланяюсь в пояс за то, что подсказали мне мои достоинства, я теперь сими мудрёными словесами свои произведения и представляю. Читать мою прозу, конечно, нелегко – четверть века над ней ворожил, кудесничал, но не беллетристика моя проза, она хотя бы даст живую и полную картину народной жизни – с обычаями, обрядами, с великим образным, пословично-поговорочным языком. Избранные запойно станут читать, но, может, хоть этнографы да фольклористы будут изучать. Чтение подобных книг хоть и требует душевного напряжения, творческого вдохновения, возбуждения дремлющей русской народной памяти, но это и отдохновение от суеты сует и томления духа.

*Критик:* У нас с Вами есть, мне кажется, общий опыт. Смотрите. Мы помним, как враз случился культурный взрыв после «революции верхов» 1991 года. Мы помним жгучие дебаты между «патриотами» и «демократами», разделение союзов, театров по лагерям. Всё дробилось, делилось, вопило о своей правде. А что сегодня? Все дружно (и патриоты, и демократы) разрешили государству не иметь никакой культурной воли и стратегии. А если ты вдруг что-то с него спрашиваешь, то тебя тут же обвиняют в «тоске по тоталитаризму». Как Вы считаете, нужна ли таким нерыночным, почвенным писателям, как Вы, государственная поддержка? Хотите ли Вы что-то от государства, или считаете, что и оно уже бессильно признать и поддержать тех, кто считает, что любовь и вдохновение, красота и истина – непродажны?

*Анатолий Байбородин:* Если бы российская власть была истинно русской по духу и слову, то «бульварным писателям» она бы чинила препоны, прохладно бы относилась даже и к талантливым «интеллигентным» писателям – и патриотам, и демократам, ибо от них испокон веку нравственная



смута, но писателей, подобных мне, – простите за нескромность – власть бы на руках носила, потому что с нами слово, созвучное многовековому великому устному поэтическому слову, с нами двухтысячелетняя народная мудрость, способная созидать и укреплять нравственный и творческий дух нации. Российская власть гордилась бы народными писателями, как власти иных народов гордятся своими национальными эпосами, но власть российская, несмотря на «ура-патриотические» вопли, похожа на колониальную... Как писал я в статье «Плач по литературе», «со второй половины восьмидесятых годов русскую традиционную народную литературу, словно безродную и бездомную нищенку, чужеродная и чужеверная российская власть выпихнула на задворки культуры, отдав предпочтение зрелищным искусствам, сплошь и рядом низкого пошиба. (Пощадила власть чужеродно-либеральную беллетристику, кою испокон веку корёжило от духа русского, порождающую “гениальных” выкидышей, словно грибы-поганки в душной плесени, и под ор и визг телерекламы надувающую очередной “мыльный пузырь”, талдыча ошалевшему народу, что иной литературы и в помине нет.) <...> Винить постсоветскую государственную власть в том, что она спихнула русскую народную литературу с корабля современности, жаловаться правителю было бы смешно и горько. Это походило бы на то, как если бы мужики из оккупированной Смоленщины и Белгородчины писали челобитную германскому наместнику, лепили в глаза правду-матку и просом просили заступиться: мол, *наше житьё – вставши и за вытьё, босота-нагота, стужа и нужда; псаря твои денно и ночью батогамы бьют, плакать не дают; а и душу вынают: веру хулят, святое порочат, обычай бесчестят, ибо восхотели, чтобы всякий дом – то содом, всякий двор – то гомор, всякая улица – блудница; эдакое горе мыкаем, а посему ты уж, батюшка-свет, укроти лихоимцев да заступись за нас, грешных, не дай сгинуть в голоде-холоде, без поста и креста, без Бога и царя...* Повеселила бы мужичья челобитная чужеверного правителя, сжалился бы над оскудевшим народишком, как пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву...

Трагедия русской традиционной литературы – это трагедия перестроечной России, а трагедия даже не в том, что, искушённые чужебесным Западом, доморощенные воры и душегубцы державу в одночасье ограбили до нитки и российский народ проснулся нищим и обездоленным, великая трагедия России в том, что *окаянная и безродная власть вот уже три десятилетия с дьявольским упорством, с дьявольской методичностью работает над изменением русского менталитета*. Наши массовые зрелищные искусства, подобные бесовским пляскам на русских жальниках, даже несмотря на сопротивление Русской православной церкви, выбивают из русского характера исконные начала: любовь к Вышнему и ближнему, любовь к русской державе, братчинность, общинность, совесть, обострённое чувство справедливого мироустройства. В прошлые века, когда не было ещё в помине глобальных средств массовой информации, когда крестьянство, славу богу, не имело книжной грамотности, но имело божественный дух и вселенское природное знание, помянутые этические начала жили в народе неколебимо, и лишь в придворных и притворных российских сословиях под влиянием западноевропейской культуры происходили ментальные изменения, утрата национального характера. Но в годы перестройки, с её агрессивной и всеохватной дьявольской пропагандой, с использованием телевидения, космополитизации подвергся уже весь народ и стал утрачивать свой исконный духовно-нравственный образ.

Первое, что перестроечная пропаганда сотворила, загнала в катакомбы русскую традиционную литературу, видя в ней оберег русского народного характера. Разумеется, пропаганда не могла откреститься от выдающихся народных писателей, и почивших в Бозе, и ныне здравствующих, потому что имена их уже в советскую пору были прославлены на весь мир. Но пропаганда – и либеральная, и даже патриотическая – исподволь дала понять, что на этих именах народная литература и завершилась. А это неправда: русская народная литература жива и в поколениях, пришедших именитым вослед со своим русским народным словом, и будет жить в поколениях грядущих, пока будет жив народ русский. Неистребим твой Божий дух, Христова Русь; бескрайне щедра на таланты, вроде и голодная, холодная, хмельная и бесправная Русь.

*Критик:* Попутно с прозой Вы занимались исследовательской работой в области фольклора, этнографии, литературы и русского языка. Как это сочеталось с художественным творчеством?

*Анатолий Байбородин:* Традиционная русская литература – не беллетристика, страдающая журнализмом либо подобная «мыльным операм» и детективам; всякому серьёзному художественному произведению предшествует кропотливая и азартная исследовательская работа, порой превосходящая

даже и научную академическую, потому что требует ещё и такого художественного воплощения, когда исследовательское начало не ощущается в произведении. Но иногда скапливается изрядно исследовательского материала, который уже не вмещается в художественные повествования, и тогда рождаются некие исследовательские труды – исторические, этнографические, фольклорные, литературные и прочие.

Скажем, я не загадывал, что составлю книгу «Русский месяцеслов. Православные праздники, дни памяти и жития святых, народные обычаи, обряды, поверия, приметы, календарь хозяина». Но скопились амбарные книги выписок из календарной и житийной литературы, дневники фольклорно-этнографических путешествий по Забайкалью (в том числе и в староверческие сёла), и мне стало жалко, что пропадёт такой богатый материал, и я уже целенаправленно начал работать над «Месяцесловом». При составлении «Русского месяцеслова» была использована русская календарно-обрядовая литература XVIII–XX веков, а также материалы фольклорно-этнографических экспедиций. Книга была принята сибирскими этнографами, а доктор исторических наук, главный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Фирс Федосович Болонев в послесловии книги «Подобных работ в истории XX века не было» писал о том, что в истории российской календарно-обрядовой литературы это первый опыт прямого слияния православного и народного календарей, как это и было в реальной жизни русского простонародья после Крещения Руси, когда подобные календари имели лишь устную форму.

Точно так же были написаны и подготовлены к изданию два тома очерков о народной культуре, живописи и литературе, также подготовлен и большой том «Мысли о русском с древнейших до нынешних времён», в котором собрано около тысячи цитат. В напутном слове к изданию сказано: «Неисповедимы пути творческие, неисповедимы были и пути рождения сего сборника цитат, в который вошли мысли и впечатления о *русском*: о православной вере, культуре, истории, этике, эстетике, идеологии и государстве русского народа, изложенные святыми отцами Русской православной церкви, богословами, писателями, учёными, государственными, общественными и культурными деятелями, а также цитаты из русских летописей, фольклорных сборников и святоотеческих православных источников. Четверть века исподволь собирались “амбарные книги” цитат – запечатлённых высказываний о *русском*, кои выписывал я либо для университетских лекций, либо для цитирования в очерках и статьях, а то и просто поразившись мудрой и украсной силой высказываний. На основе этих выписок лет пятнадцать назад стал я целенаправленно готовить сборник, который потом и назвал – “Думы о русском с древнейших до нынешних времён”».

Подобные исследования изначально не имели прагматической, научной задачи, а необходимы были для постижения русского народа в ретроспективе двух тысячелетий. Хотя, скажу, постигнуть непосильно, можно лишь прикоснуться к Вселенной Русского Духа, и то уже великое богатство.

Без серьёзного и глубинного изучения национальной этики не может быть национального писателя. К примеру, в чём сила латиноамериканского писателя Габриеля Маркеса? В том, что он ярко выраженный народный писатель, поэтому он интересен всему миру. Пушкин мог и не выделиться из дворянской литературы «золотого века», и не превзойти Жуковского, Карамзина, и даже Дельвига с Пушковым, но он и духом, и словом пробился к народному – сути, крестьянскому – миру и стал народным писателем, вознёсся над узко сословной дворянской литературой. Размышляя о народности в искусстве, я привожу в пример иностранных туристов – они же не едут в Иркутск посмотреть спальный район с его стеклом и бетоном, они посещают этнографический музей «Тальцы», любят наши старинные храмы, деревянными кружевными домами. Туристов интересует Иркутск национально ярко выраженный. И такой же русской народной литературы в мире ждут и от российских писателей.

О русскости, народности искусства и забыли нынешние молодые писатели, а с ними и критики. Вот отброшенный нашими безродными западниками великий и спасительный, духовно-нравственный и художественный критерий искусства – *народность*, не только воплощённая в произведениях Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лескова, но и запечатлённая в их критических статьях. Трагедия нынешнего российского искусства даже не в том, что книжные прилавки, экраны, сцены захлестнул мусорный поток поганой «маскультуры»; нет, трагедия в том, что властители «искусства» замутили нравственные и художественные критерии искусства, которые были незыблемы многие века, пережив даже революционную смуту начала двадцатого столетия.

*Критик:* Ваши произведения называются «Старый покос», «Не родит сокола сова», «Утоли мои печали», «Белая степь», «Не попомни зла», «Воля», «Красная роса», «Чудо», «Хлебушко», «Утром небо плакало, а ночью выпал снег», «То ли сон, то ли явь». Уже сами названия отражают совершенно особый строй жизни, который Вы в своём творчестве сохранили. Вы насквозь пронзены любовью к земле и Богу, сотворившему нашу Землю. А что сегодня – не ушли ли Ваши герои с земли? Что сегодня с сибирской землёй происходит?

*Анатолий Байбородин:* В освоении сибирских земель героизм проявили не столь первопроходцы из служивых и промысловых людей, сколь русские крестьяне. В глухой сибирской тайге, где от крещенских морозов птица замерзала на лету, где короткое, с заморозками, непредсказуемое лето, где зона рискованного земледелия, где вместо дорог просёлки и тропы, крестьяне сумели освоить земли, по площади превышающие многие европейские государства, – освоить и, владея лишь топором да сохой, выкорчевать тайгу под хлебородные нивы и завести устойчивое хлеборобство. Героизм крестьян-первонасельников Сибири нам, потомкам, непостижим. Своеобычная *сибирская* этика русского человека, сохранившая православный дух, выросла из двух крестьянских корней, северорусского и среднерусского, при взаимодействии с коренными сибирскими народами – эвенками и бурятами, и, наконец, с варнаками – ссыльными, беглыми поселенцами, что для крестьян оказались пострашнее морозов, наводнений и пожаров.

Помянутые тяготы выковали и закалили своеобычный русский сибирский характер; крестьян спасало от воинственных инородческих племён, от бродячих ссыльных смелость и суровость по отношению к ним. Не случайно именно сибиряки остановили немцев под Москвой в декабре сорок первого и решили исход самой великой и ожесточённой битвы всех времён – Сталинградской?

Вспомнил недавно прочитанный очерк из истории Великой Отечественной войны... Ударные соединения вермахта уже занимают исходные позиции для штурма Москвы. Передовые дозоры немцев уже разглядывали в бинокли столицу. Сюда переброшена и победоносная дивизия СС «Рейх». И когда эсэсовцы с закатанными рукавами, паля от живота, приблизились к позициям сибиряков, то нарвались на убийственно точный огонь, на дружные контратаки... Парни из СС были ошеломлены тем, что сибирские мужики вдруг вырвали у них победу и выбили полдивизии. 24-я армия, сформированная из сибирских резервистов, неожиданно атаковала противника и отбросила его на семьдесят километров на запад.

Выходец из иркутской деревни Белобородов Афанасий Павлантьевич, тогда ещё полковник, командовал дивизией, которая дислоцировалась на Волоколамском шоссе, откуда танку час хода до Московского Кремля. Сталин лично контролировал Волоколамское направление как наиболее тревожное. Писатель Евгений Воробьёв служил о ту пору фронтовым корреспондентом и сообщал: «Я вспоминаю этот день в деревне Нефедьево, когда половина деревни была в наших руках, а вторая занята фашистами. На окраине стоял комдив 78-й, тогда ещё полковник Белобородов. И говорил (дословно): “Понимаете, браточки, ну некуда нам отступать, нет такой земли, куда бы мы могли отступить, чтобы нам, сибирякам, не было стыдно смотреть в глаза людям”».

Вот обычный сибирских характер, непостижимо выносливый, мужественный, что, впрочем, сочеталось с христианским милосердием. Недаром в глухих бревенчатых заплотах у приворотных дверей вырубалось оконце, куда крестьяне на ночь клали немудрящий харч для бродяг. Но ворота им редко отпирали, чтоб не накликать беду на домочадцев – бережёного Бог бережёт. Спасала и круговая порука, властвующая в сельской общине, а перво-наперво – христианское смирение, терпение, любовь к ближнему.

Вековечная труженица Сибирь содержала всю Россию, и нередко с великой надсадой, как великой кровью, и защитила Россию в Отечественной войне. А как ныне выживает Сибирь, и перво-наперво сибирское село?

Нынешним летом сподобился путешествовать по алтайской земле, гостить в селе Сростки, где родился и вырос Василий Макарович Шукшин. Величавая краса открывается взору с горы Пикет, что за околицей Сросток, словно паришь поднебесной птицей и видишь, как на Божией ладони, всю благословенную алтайскую крестьянскую землю: бескрайние поля, где Катунь плетёт размашистые петли; видишь берёзовые рощи, сосновые боры, деревеньки, заимки... Хоть и сибирская то земля, а веет Московской Русью, какую ранешние художники любили писать широкими панорамами. Бродил уединённо по горе, любовался и думал, что и Василий Макарович с сыновьей любовью оглядывал

родимую сибирскую землю и со светлой печалью вздыхал: наступят жизненные сроки, и покинешь сию прекрасную землю. Жалко... Люблю Алтай, и даже не причудливый горный, а полевой, где сквозь берёзовые гривы, сосновые перелески золотисто светятся хлебобродные нивы, по которым синеватыми волнами проплывает ветер. Люблю старинные алтайские деревни... Я родился и вырос в лесостепном русско-бурятском селе, что на северо-востоке Забайкалья, в семье скотоводов и скотогонов, где, в отличие от смиренных пахотных крестьян, царили нравы язычески вольные, а порой и диковатые. Если бы чудом мне пришлось выбирать себе «малую родину», и бы родился и вырос в старинном алтайском селе, может быть кержацком, в семье смиренных пахотных крестьян, кои, согласно Священному Писанию, унаследуют землю.

Хотя, словно перед концом света, тоска щемит душу, когда вижу порушенные колхозные фермы с выбитыми глазами, заросшие дурнопахляющей травой крестьянские поля, где дико воют одичалые псы, когда вижу сквозь наволочь слёз мертвеющие сёла и деревни, где доживают век старики со старухами да неприкаянно шатаются горькие пьяницы. Душа болит, говорил Василий Шукшин, и воистину: глядя на деревенский разор, ноет, стонет неприкаянная душа...

Но не столь хозяйственная поруха страшна, страшнее то, что российская пропаганда, коя в цепких дьявольских когтях, вот уже четверть века рушит исконный русский характер, вытравляя из характера любовь к Вышнему и ближнему, братчинность, общинность, любовь к православному Отечеству, совестливость, насаждая пороки: богохульство, презрение к ближнему, демонический индивидуализм и гордыню. Пострадал и сибирский характер...

Хотя, пропев заупокойную скорбь, скажу и заздравное слово: христопродавцами некогда были порушены православные храмы, и народ обезбожился, и казалось, что до скончания света, ан нет, и церкви взнялись из праха, вера затеплилась в народе, словно свечка на аналое; так и в деревенском мире возрастает новое поколение крестьян, которое щедро пополнится и горожанами, возжаждавшими стать крестьянами, которые вольно ли, невольно вынуждены будут возрождать не только многовековой хозяйственный опыт, обретать природолюбие и природознание своих предков, но и духовно-культурный, творческий мир пахотных крестьян.

Приезжаю в забайкальское село Погромна, где доживал долгий век в сто шесть лет мой дед по матушке Лазарь Ананьевич Андриевский; в Погромне и встречаюсь с внучатыми племянниками, приятелями – несмотря на молодые лета, все они крепкие трудолюбивые крестьяне, держат уйму скота, имеют свои покосы и пастбища. Они понимают, иначе не выжить, ни житейски, ни нравственно, иначе детей не вырастить, не наставить их на путь созидательной любви к ближнему и Вышнему, к родимой русской земле. И в них я чувю, слышу, вижу природно-крестьянский и христианский дух моих героев, корни коих от первого человека, созданного Богом из земли, от Адама и Евы, получивших от Господа в подарок плуг и прялку.

*Критик:* В ранних Ваших произведениях о стародеревенском быте вольно ли, невольно звучало и языческое поклонение матери-сырой земле, отцу-небу, живописались деревенские обычаи, обряды, в которых немало языческого, особенно когда речь идёт о гаданиях. А ныне в Ваших повестях и рассказах откровенная христианская проповедь. Как это уживается в Вашем творческом мире?

*Анатолий Байбородин:* В сибирском крестьянском быту народное мировоззрение, в отличие от южнорусского, окончательно освободилось от языческого поклонения матери-сырой земле, природным стихиям, взойдя к пониманию природы как Творения Божия. Хотя мелкие суеверия и выжили... А южнорусские крестьяне по немощи, по бесцерковному житью верили и во Христа, и во всякую нежить – в чары и Мару, в хозяйнушку и баннушку, в лесовика, озёрника и шишимору болотную – верили, отбивались от нежити и крестом и пестом, и молитовкой и древним наговором, крестным ходом и ночным хороводом. Верили суеверам-ворожеям, колдунам и чародеям; верили в корни приворотные, травы чародейные. Травы добрые – травушка-муравушка; злые – лихие, лютые коренья. В Сибири выжили лишь слабые отголоски языческих суеверий.

Русское язычество я, в молодую пору закоренелый материалист, воспринял в творческий дух без мистического трепета, лишь как дивную поэтическую песнь природе и старокрестьянскому миру. В младые лета до одури начитался старин про неведомую и нечистую силу – про колдунов, волхвиток и прочую нечисть, прости Господи. Начитался про нежить и в фольклорно-этнографических сочинениях, и в мифологических сказах, и у Гоголя, Снегирёва, Афанасьева, Максимова, Сахарова, и у моих земляков фольклористов и этнографов Виноградова, Зиновьева, Болонева. И впал в прелесть:



в повествованиях «Поздний сын», «Не родит сокола сова», в рассказе «Господи, прости», в очерке «Семейский корень» живописал рождественские, крещенские, купальские и покровские гадания, святочные колядования, и о проделках водяных, русалок, леших, колдунов и ведьм. Но в более поздних редакциях убавил поэтическую прыть, осмыслил язычество как трагедию русской души, что мечется меж языческой *вседозволенной* волей и христианской волей от порочных страстей. Ощущая в народных обрядах природную красоту, русский задушевный лиризм, понял, что, тем не менее, во многих было предостаточно плотского буйства, пьяного разгула, дикого любострастия, когда «кошуны и блядословие» любят больше (церковных) книги, когда откровенно «бесам жряху».

Против бесовских кобей, как говаривали в старину, – то есть против обожествления природы, чернокнижного травоволхования, огневолхования, водоволхования, суеверных обычаев, обрядов и примет, против плотского, языческого буйства в праздники, – во все наши крещёные века восставали благочестивые православные христиане, каралось это и церковной и царской властью.

Слишком сложен, слишком противоречив русский характер, в котором мучительно, нередко для души разрушительно уживались вера иступленная и разгул, слёзное покаяние и свирепый грех. Церковь и кабак. Я бы даже сказал, что он, русский характер, и самим-то русским, маловерным, подчас непостижим; они и сами-то себя не могут до конца понять, и порой даже и не знают, что ожидать от самого себя завтра. Это особенно видно из крестьянской жизни, воплощённой в том же месяцеслове.

Православные воззрения полностью переворачивают наши привычные мирские взгляды на земную реальность, а значит, и на мирскую литературу, художественно воплощающую земную реальность. Ибо литература, как и все мирское искусство, за малым исключением, опирается на мудрость мира сего, мудрость людей, что в христианском понимании – безумие, поскольку христианство видит истину лишь в мудрости горней, не от мира сего, то есть, не в человеческом мечтании, но в божественном промысле. По этой причине религиозная литература, где божественная мудрость, воплощённая в Священном Писании, в святоотеческих словах и поучениях, чаще всего несовместима с мирской художественной литературой. Нередко то, что в мирской литературе воспето как добро, в духовно-религиозной понимается как зло.

Полярное, несовместимое положение христианства и литературы начинается с самого главного, с понятия жизни человека. В мирской литературе жизнь – земное обитание человека, в христианстве жизнь – то, что следует за земным обитанием человека, то есть жизнь души в Царстве Небесном. Либо христианское учение делит человеческую жизнь на вечную (небесную либо в аду) и временную, как приготовление человека к вечной жизни. Для писателя жизнь земная, с воспетыми радостями и горестями – всё, дальше смерть и неведомо что, для православного христианина земная юдоль лишь испытание души перед вечной жизнью. А потому писатель, описывая смерть, – показывает её как великую трагедию, как страшный и непостижимый конец всего, для православного христианина умирание плоти страшно лишь с точки зрения нераскаянности земных грехов перед вечной жизнью души.

Лишь через православную веру и постиг я истину, что всё, кроме веры, – блуждание слепых во тьме. Всё в жизни, в искусстве оценил в согласии с Христовым Словом, и многое в русской классической литературе, в своих сочинениях переосмыслил согласно Истине.

*Критик:* «Деньги – родина безродных», – сказал кто-то из умных иностранцев. Я думаю, что Вы это очень хорошо знаете и можете сказать, почему. Почему все, кто готов проявлять безразличие к деньгам, сброшены с «корабля современности»? Я, конечно, не говорю о той нищете без Бога, о которой говорил нам Достоевский. Эта нищета страшна. Но, может быть, мы сами виноваты в том, что не хотели быть успешными в «новом мире»? Какая жизнь Вам приходится впору? Что говорит Вам собственный опыт – уже и немаленький?

*Анатолий Байбородин:* Меня окаянному русскоязычному времени отвергнуть было просто – писатель известный... в застольном дружеском кругу, а, скажем, Валентина Распутина или Василия Белова, тоже певцов крестьянского мира, даже ельцинская воинственно космополитическая власть не смогла загнать в небытьё, поскольку русское крыло брежневской власти, говоря нынешним языком, с таким мировым размахом «раскрутило» эти имена, что уже и неподсильно загнать их в забвение. Властвующая нежить (а она может быть и русской по крови), как и в смуту начала прошлого века, так и нынешнего, привечает литературу не русскую, а русскоязычную, где процветают и писатели-руссофобы, и писатели, русские по крови и по любви к России, но оторванные от истинно русского, суть крестьянского, духа – либо умозрительные и нервные модернисты-метафористы, либо полу-

журналисты, либо среднерусские, равнинно-серые, пишущие «инструкции от перхоти». Мне, увы, не хватило русско-советской власти, а в ту пору не хватало бойкости, чтобы обрести звучное имя, тогда бы, может, и со мной носились как с писаной торбой. Но, увы... Вообразим, что Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, ещё неведомые читателю, написали бы «Царь-рыбу», «Привычное дело», «Прощание с Матёрой», и что бы их ожидало?.. Русскоязычные журналы указали бы на дверь – поцелуй пробой и вали домой, а напечатали бы помянутые произведения лишь русские журналы, если бы, конечно, некий заведующий отделом прозы – «асфальтовый писатель» – не раздолбал в пух и прах, повинив в диалектизме, этнографизме, фольклоризме и словесном орнаментализме. И русский народ, не говоря уж о мире, слыхом бы не слыхивал про этих писателей.

Советский двадцатый век для русской литературы – судьбоносный: два предыдущих века литература (повеличенная классической) была дворянской (слегка разночинной), а после смуты впервые в русской истории в искусство, в том числе и в литературу, вошёл сам народ от сохи и бороны и предвнёс в искусство двухтысячелетнюю необозримую народную культуру.

Когда вместе с Империей рухнуло государственное книгоиздание, я оцепенел, я не знал, как жить дальше, потому что десятилетия, перебиваясь с хлеба на квас, вдохновенно и самоотречённо трудился над своими повестями и рассказами, и мне светила счастливая издательская судьба (в двух столичных издательствах, в родном иркутском приступили к работе над моими книгами). В советские времена ценилась даже и крепкая проза, не говоря о талантливой, издательства выплачивали писателям щедрые гонорары, на которые можно было покупать квартиры, и мощно была развита сеть книготорговли. И вдруг всё рухнуло. И читателей в России резко поубавилось, отчего нынешний серьёзный писатель похож на сумасшедшего, который вещает зарешечённому окну. Тяжело я переживал в ту пору – утратился смысл жизни, но потом смирился, утешил себя. Не по писательской славе примет нас Господь; за славу ещё и придётся держать тяжкий ответ. Пришлось затянуть потуже ремень на брюхе и выживать – десять лет читал русскую стилистику в университете, потом служил в издательстве. С точки зрения славы и земных благ, в сравнении с вышепомянутыми народными писателями, в сравнении с «бульварными беллетристами», моя писательская судьба убога, но, видимо, в этом и был Божий промысел о моей судьбе: будь у меня слава и деньги, я, выросший в разгульном и разбитном селе, потом вдосталь хлебнувший порочного богемного житья, не устоял бы перед грешными соблазнами мира сего и пустился во все тяжкие. И без того в душе столь смуты и разлада, что порой и жизнь не мила.

Всё за упокой да за упокой, завершу во здравие... Унынье – грех. Как в народе говорят, наладился помирать, сей рожь. Будем уповать на чудо – на то мы и русские, чудные и чудные – что воцарит на Русском Престоле русская власть, обернётся благодушным лицом к своей родной, русской традиционной литературе, осознав её главенствующее положение в культуре по сравнению со зрелищными искусствами. Возрождение русского национального характера в православном воцерковлении – не обряда лишь ради, а с полной и неколебимой верой, что по любви к Вышнему и ближнему удостоимся Царствия Небесного; на земле же русское возрождение невозможно без возрождения русского искусства, истинно и глубинно простонародного по духу и слову.

